



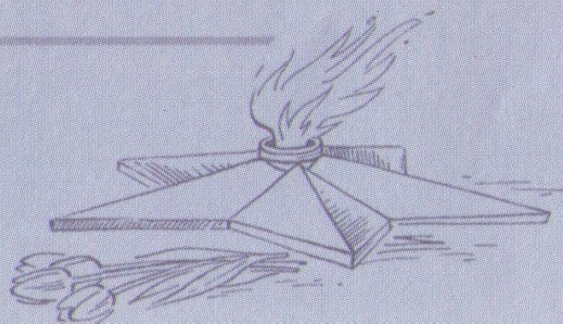
КОЧЕРЫЖКА

Люди возвращались. На маленькой голубой станции, уцелевшей от бомбежек, беспорядочно и суетливо выгружались из вагонов женщины и дети с узлами и авоськами. По обеим сторонам дороги заколоченные домики, глубоко зарывшись в сугробы, ждали своих хозяев. То там то сям вспыхивали в окнах светлячки коп-тилок, из труб поднимался дым. Дольше всех пустовал домик Марьи Власьевны Самохиной. Забор ее повалился, и только кое-где стояли еще крепко сбитые колья. Над калиткой торчала вверх и билась на ветру сломанная доска. В морозные зимние ночи, проваливаясь в снег, к запущенному крыльцу брел голодный пес, похожий на затравленного волка. Он обходил дом, прислушиваясь к тишине, царившей за большими окнами, тянул носом воздух и, бессильно волоча длинный хвост, укладывался на снежном крыльце. А когда луна бросала на пустой дом светлые желтые круги, пес поднимал морду и выл.

Вой будоражил соседей. Измученные, настрадавшиеся люди, зарываясь головой в подушки, грозились заткнуть эту голодную глотку дубиной. Может быть, и нашелся бы человек, решившийся поднять дубину на поджарое собачье тело, но пес, как бы зная это, остерегался людей, и утром на снегу оставались только следы, тянувшиеся неровной цепочкой вокруг брошенного дома. И лишь один маленький человечек из домика напротив



В. Осеева
«Кочерыжка»



каждый вечер за старым обвалившимся погребом ожидал голодного пса. В растоптанных валенках и старой серой шинельке он тихонько вылезал на крыльцо и смотрел, как в сумерках белеет снег. Потом, прижимаясь к стене, круто заворачивал за угол дома и шел к погребу. Там, присев на корточки, он делал в снегу плотную ямку, выкладывал из кармана корочки хлеба и тихонько отступал за угол. А за погребом, медленно переставляя лапы и не сводя с ямки голодных волчьих глаз, появлялась поджарая собака. Ветер качал ее костлявое тело, когда она жадно глотала то, что принес маленький человечек. Окончив еду, пес поднимал голову и в упор смотрел на мальчика, а мальчик смотрел на пса. Потом оба расходились в разные стороны: собака в снежные сумерки, а мальчик в теплый дом.

* * *

Судьба маленького человечка была судьбой многих детей, застигнутых войной и обездоленных фашистскими варварами. Где-то на Украине золотой осенью в обуглившемся селе, только что отбитом у фашистов, безусый сержант Вася Воронов нашел на огороде завернутого в теплые тряпки двухлетнего мальчишку. Рядом на вспаханной огородной земле, среди обрубленных кочанов капусты, в белой сорочке, вышитой красными цветами, лежала, раскинув руки, молодая женщина. Голова ее была повернута набок, голубые глаза застыли в пристальном созерцании высокой горки срезанных капустных листов, а пальцы одной руки крепко сжимали бутылку с молоком. Из горлышка, заткнутого бумагой, медленно стекали на землю крупные молочные капли... Если б не эта бутылка с молоком, может быть, пробежал бы Вася Воронов мимо убитой женщины, догоняя своих товарищей. Но тут, горестно поникнув головой, осторожно вынул он из рук мертвой бутылку, проследил ее застывший взгляд, услышал за капустными листьями

слабое кряхтение и увидел широко открытые детские глаза. Неумелыми руками вытащил безусый сержант закутанного в одеяльце ребенка, сунул в карман бутылку с молоком и, наклонившись над мертвой женщиной, сказал:

— Беру... Слышь? Василий Воронов! — и побежал догонять товарищей.

На привале бойцы поили мальчика теплым молоком, любовно оглядывали его крепенькое тельце и шутя называли Кочерыжкой.

Кочерыжка был тихий; свесив голову на плечо Васи Воронова, он молча глядел назад, на ту дорогу, по которой его нес Вася. А если мальчик начинал плакать, товарищи Воронова с пыльными и потными от зноя лицами приплясывали перед ним, тяжело потряхивая амуницией и хлопая себя по коленкам:

— Ай да мы! Ай да мы!

Кочерыжка замолкал, пристально вглядываясь в каждое лицо, как будто хотел запомнить его на всю жизнь.

— Изучает чегой-то! — шутили бойцы и дразнили Васю Воронова. — Эй, отец, докладай, что ли, по начальству насчет новорожденного!

— Боюсь, отымут, — хмурился Вася, прижимая к себе мальчонку. И упрямо добавлял: — Не дам. Никому не дам. Так и матери его сказал — не брошу!

— Одурел, парень! С ребенком, что ли, в бой пойдешь? Или в няньки теперь попросишься? — урезонивали Васю бойцы.

— Домой отошлю. К бабке, к матери. Закажу, чтоб берегли тама.

Твердо решив судьбу Кочерыжки, Вася Воронов добился своего. Поговорив по душам с начальством и передав своего питомца с рук на руки медицинской сестре, Вася написал домой длинное письмо. В письме было подробно описано все происшедшее, и кончалось оно просьбой: держать Кочерыжку, как своего, беречь,

как родное дите сына Василия, и не называть его больше Кочерыжкой, потому как мальчик крещен в теплой речной купели самим Вороновым и его товарищами, давшими ему имя и отчество: Владимир Васильевич.

Молоденькая сестричка привезла Владимира Васильевича в семью Вороновых зимой сорок первого года, когда сами Вороновы, заколов свой домик, бежали с вещами и авоськами к голубой станции. На ходу, второпях прочитали Анна Дмитриевна и бабка Петровна письмо Васеньки, со вздохами и слезами приняли от сестрички сверток в сером солдатском одеяле и, нагруженные вещами, полезли с ним в дачный вагон, а потом в теплушку.. А когда вернулись на старое жилье и открыли свой отсыревший домик, война уже отодвинулась, письма Васеньки шли с немецких земель, а Кочерыжка уже бегал по комнате и сидел на скамейке, пристально изучая новые углы и новые лица своими зеленоватоголубыми глазами под темными шнурками бровей. Мать Васеньки, Анна Дмитриевна, осторожно поглядывая в сторону мальчика, писала сыну:

«Завет чести твоей и совести, дорогой наш боец Васенька, мы сохраняем. Кочерыжку твоего, то есть Владимира Васильевича, не обижаем, только недостатки наши невелики — особенно содержать его не можем. По приказу твоему мальчику о тебе поминаем, как что между вами произошло, и бутылочку тую держим на память. Еще разъясни ты нам, Васенька, как ему нас звать прикажешь, а все «тетенька» да «тетенька» я ему, бабушку зовут Петровной, а сестренку твою Граню Ганей кличет».

Вася Воронов, получив письмо, слал ответ:

«За хлопоты ваши великое спасибо. В остальном разберусь, как домой приеду. Одна просьба: Кочерыжкой не звать, потому как это звание походное, данное случаем по обстоятельству местонахождения в капусте. А он должен быть как человек, Владимир Васильевич, и сознавать то, что я ему отец».

Кочерыжке своему Вася Воронов, подумав, всегда писал одно и то же: «Расти и слушайся». Пока что больших задач воспитания приемного сына он на себя не брал. Кочерыжка рос плохо, а слушался хорошо. Слушался молча, медленно, понятливо и серьезно.

— Батюшки, да что ты как спеленатый на лавке сидишь? Пойди хоть побегай маленько! — замечая его, на ходу кричала тетенька Анна Дмитриевна.

— А где побегать? — сползая с лавки, спрашивал Кочерыжка.

— Да в садике, батюшки мои!

Кочерыжка выходил на крыльцо и, как будто стесняясь, с неуверенной улыбкой смотрел на тетеньку, потом, опустив руки, неловко перебирая ногами, бежал к калитке. Оттуда медленно возвращался и снова садился на лавку или на крыльцо. Петровна качала головой:

— Притомился, Кочерыжка, то бишь Володечка?

Мальчик поднимал тонкие брови и односложно отвечал:

— Не.

Граня бегала в школу. Иногда у крыльца, как стайка веселых птиц, собирались ее подружки. Граня вытаскивала Кочерыжку, сажала его к себе на колени, дула на его большой лоб с пушистыми темными завитками и, скрестив на его животе крепкие, загорелые руки, говорила:

— Это наш, девочки! Мы его в капусте нашли! Не верите? Он сам знает. Правда, Кочерыжка?

— Правда, — подтверждал мальчик, — меня в капусте нашли!

— Бедненький! — ахали девочки, поглаживая его по головке.

— Я не бедненький, — отводя их руки, говорил Кочерыжка. — У меня отец есть. Вася Воронов — вот кто!

Девочки начинали возиться с ним, но Кочерыжка не любил шумных игр. Однажды Петровна дала ему немного земли из старого цветочного горшка, и в самом

углу широкой скамьи Кочерыжка устроил себе огород. На огороде он сделал аккуратные грядочки. Граня дала мальчику красной глянцеви́той бумаги и зеленой папиросной. Кочерыжка вырезал круглые красные ягодки, разложил их на грядках, а рядом воткнул зеленые кустики из папиросной бумаги. Потом принес из сада ветку и повесил на нее бумажные яблочки, раскрашенные с помощью Грани. В игре принимала участие и Петровна — она тайком подкладывала в огород свежую морковь и громко удивлялась:

— Гляди-ка, морковь у тебя поспела!

Анна Дмитриевна называла Петровну потатчицей, но сама как-то привезла два игрушечных ведерка и совочек для «огорода». Кочерыжка любил землю; он брал ее на ладонь, прижимался к ней щекой и, когда скупое зимнее солнце падало из окна, серьезно говорил:

— Не загораживайте солнце-то, ведь расти ничего не будет!

— Агроном!.. — с гордостью говорила о нем Петровна.

* * *

Жизнь в то время была трудная. У Вороновых не хватало хлеба, картошки своей не было. Анна Дмитриевна работала в столовой. Она приносила в бидончике остатки супа. Граня с размаху залезала в бидон ложкой и вылавливала гущу. За столом мать бранила ее:

— В такое-то время, когда весь народ от войны еще не оправился, она только о себе думает! Выловит гущу, а мать и бабушка как хотите! Да Кочерыжка еще на руках у нас!

Громкий голос и сердитые слова пугали Кочерыжку. — Я не буду! — испуганно говорил он, сползая со стула. — Я не буду кушать!

— Сядь!.. Что за «не буду» такое? — в раздражении кричала на него Анна Дмитриевна.

Кочерыжка низко наклонял голову и начинал капать крупными слезами. Петровна схватывалась со своего места и, вытирая ему глаза передником, ругала дочь и внучку:

— Вы что ребенку нервы треплете? Чужое дите за столом, а они при нем куски считают! Взяли за своего, так и держите по совести!

— Да что ж я ему сказала-то? — ахала Анна Дмитриевна. — Не на него кричу, а на дочь родную! Я его и пальцем не трону! Мне с ним не жить... Пусть кто взял, тот и воспитывает!

— А мне, что ли, с ним жить? Мне и вовсе он не нужен на старости, а раз взяли, так надо сердце иметь! Вишь, он ото всего нервный какой!

— Ну, нервный! Представленный, и все тут! — кричала сквозь слезы Гранька, получившая от матери подзатыльник. — Все, все брату напишу! Пускай забирает его совсем! Не надо нам!

— А кто ж со мной жить будет? — вдруг спрашивал Кочерыжка, обводя всех тревожными заплаканными глазами.

Петровна спохватывалась:

— Усе, усе будем, сынок! Не плачь только! Советская власть сироту не бросит! А отец-то! Отец-то на што? Вон он глядит... Вон он... — Она снимала с полки фотографию Васи и, обтерев ее ладонью, подавала мальчику. — И-и, какой отец... С ружьем!

Кочерыжка сквозь слезы улыбался доброму скуластому лицу Васи, а Петровна, расчувствовавшись, крепко прижимала к себе мальчика:

— Разве он бросит?! Как повидал он это горюшко... Лежит она, голубка сердечная, а молочко-то из бутылочки кап-кап... — Она вдруг прерывала себя и, подперев рукой щеку, начинала раскачиваться из стороны в сторону. — Ах ты Боже ж мой, Боже ж мой... Несла своему сыночку, голубушка...

Анна Дмитриевна, прислушиваясь к ее словам, останавливалась посреди комнаты; Граня сидела тихо, поглядывая круглыми глазами то на мать, то на бабу.

— И сказал он ей, мертвенькой...

Кочерыжка закрывал глаза и, борясь с дремотой, крепче прижимал к себе карточку.

— ...нипочем я сыночка твоего не брошу... — доносился до него затихающий голос Петровны, смешанный со слезами и вздохами. — Ах ты Боже ж мой, Боже ж мой...

— Гляди, карточку всю изомнет! — вдруг кричала Гранька. — Заснул ведь! Дай-ка я возьму у него!

Петровна загораживала от нее Кочерыжку:

— Не тронь, не тронь, Гранечка! Я сама опосля возьму!

Анна Дмитриевна, как бы очнувшись, бежала к постели, взбивала подушечку и принимала из рук Петровны спящего мальчика. Гранька вертелась тут же, чтобы вытащить из горячих сонных рук Кочерыжки Васину карточку, но мать молча отводила ее руку и, глядя в курносое безмятежное лицо девочки, думала: «Чего в ней не хватает — сердца или разума?»

* * *

По ночам выла собака. Кочерыжка знал, что она воеет от голода, от тоски по хозяевам и за это ее хотят убить. Кочерыжка хотел, чтобы собака перестала выть и чтобы ее не убивали. Поэтому однажды, увидев за своим погребом следы собачьих лап, он стал относить туда остатки еды. Собака и мальчик боялись друг друга. Пока Кочерыжка складывал свои сокровища в ямку, собака стояла в отдалении и ждала. Он не хотел погладить ее сбившуюся шерсть на тощих ребрах — она не хотела вильнуть ему хвостом. Но часто они смотрели друг на друга.

И тогда между ними происходил короткий разговор.

«Все?» — спрашивали собачьи глаза.

«Все», — отвечали ей глаза Кочерыжки.

И собака уходила, чтобы в сумерки следующего дня заставить его тревожно ждать за погребом, прислушиваясь к каждому голосу из дома. За столом Кочерыжка, глядя испуганными глазами на все лица, прятал за пазуху хлеб.

* * *

Однажды ночью он проснулся от собачьего голоса. Но это не был вой. Это был короткий визг. Кочерыжка прислушался. Визг не повторился. Мальчик понял: что-то случилось. Он сполз с кровати и, всхлипывая, пошел к двери. Петровна в одной юбке, сонная и растрепанная, схватила его на руки:

— Куда ты? Куда, батюшка мой?

Кочерыжка громко заплакал.

— Молчи, молчи, сынок... Усех в доме перебудишь...

Но мальчик вырывался из ее рук и, захлебываясь слезами, указывал на дверь:

— Туда, туда...

— Да куда же мы пойдем с тобой? Ведь на дворе тьмущая... Там усе волки сейчас бегают... Гляди-ко!

Петровна подняла Кочерыжку к окну и отдернула занавеску. На дворе стояла оттепель; сквозь мокрое стекло было видно, как из освещенного окна пустого дома на крыльцо падала желтая тень. Кочерыжка вдруг затих, а Петровна, зевая, сказала:

— Никак, Самохины приехали?

* * *

В эту ночь от станции, глубоко проваливаясь в снег тяжелыми бутсами, шла женщина. Рваное мужское пальто, подвязанное веревкой, мокрыми полами обхватывало ее колени, черный платок съехал на плечи, седые пряди

волос прилипли к щекам. Женщина часто останавливалась и прислушивалась к собачьему вою. В калитке оторванная доска задела ее за плечо, а с крыльца поднялся одичалый пес и, прижимая к затылку уши, двинулся ей навстречу. Женщина протянула к нему руки, чуть слышно пошевелила губами. Пес с коротким визгом упал на снег и пополз к ней на брюхе... Женщина обняла его за шею и достала из кармана ключ. Потом поднялась на ступеньки, открыла дверь, зажгла огарок свечи, и от освещенного окна упала желтая тень, которую увидел Кочерыжка.

* * *

Собака не приходила. Два дня ждал ее Кочерыжка, глядя на огонек, светившийся через дорогу. Теперь оттуда часто доносился хриплый, сердитый лай. Слышно было, как пес кидался к забору и до конца улицы провожал идущих мимо отрывистым лаем. Он сторожил свой дом. Ночью никто уже не слышал его жалобного воя и не грозил заткнуть ему глотку дубиной. Из разговоров соседей Кочерыжка знал, что в домик Самохиных вернулась одна старуха — Марья Власьевна... Бабка Маркевна, никуда не уезжавшая во время войны, считала себя хозяйкой опустевшего поселка с заколоченными домиками. Ей казалось, что именно она, оставаясь здесь, под немецкими бомбами, уберегла от разрушения весь поселок. И как хозяйка встречала она всех возвращающихся, приветливо и жалостно, не скупясь ни на сочувствие, ни на вязанку дров для захламивших людей. Первая являлась она к семьям, еще не обогревшим пустые углы, и, прислонившись к косяку двери, зябко кутаясь в клетчатую шаль, говорила: — Ну вот, слава те Господи! Вернулись! На родном пороге не обобьешь ноги!

И тут же зорко примечала она чьи-то заплаканные глаза, горестно покачивала головой, кляла душегубов-фашистов, вытирала концом платка слезы и утешала:

— Что делать, милушка, война... Уж теперь не вернешь и сама в могилку не полезешь. Скрепи сердце, как ни есть... Небось не одна поплачешь, люди с тобой поплачут и над твоим и над своим горем... Все вместе, легче будет...

Серенькое, востренькое лицо ее, теплые руки с темными жилками, слезы и сочувствие успокаивали. Не одна осиротевшая женщина выплакала свое горе вместе с Маркевной. Поплавав, бабка Маркевна деловито распоряжалась:

— Печку-то спробуй — не дымит ли? Да пойдем ко мне: дровишек сухоньких дам или кипяточку отолью.

Бабка Маркевна жила одна, но с утра до вечера у нее толокся народ — женщины, ребяташки. Каждому что-то было нужно. Иногда на широкой лавке под печкой сидел у бабки чей-нибудь закутанный ребенок, и бабка, придя со двора, говорила:

— Ишь Бог послал... Чей же это? Сафроновых али Журкиных? — И сама себе отвечала: — Небось Журкиных... Она нынче к снохе в город уехала...

Погремев в печи заслонкой, Маркевна вытаскивала горячую картофелину, дула на нее, перебрасывая с ладони на ладонь, и подносила ребенку:

— На-кось... Погрей ручки да скушай!

Теперь бабка Маркевна часто сидела у Петровны и, указывая на домик Самохиной, с обидой говорила:

— Я к ней, а она от меня... я во двор, а она в дом... Вижу, лица на ней нет.

— Да-да,— подтверждала Петровна,— чуждается она людей... а бывало, как работала библиотекаршей на заводе, от одних ребят отбою не было, сама всех привечала.

Маркевна освобождала от шали востренький подбородок и шумно сморкалась.

— Выхожу это я в сени, а у самой сердце не на месте... И ее жалко, и навязываться тошно... Только думаю себе: горе-то что петля на шее, если некому

растянуть ее, она всего человека захлестнет.— Маркевна оглянулась на Кочерыжку и вдруг зашептала: — Ведь одна-одинехонька вернулась. Игде невестка, игде внучка ейная. Все небось в земле сырой похоронено. Как не бывало да не было. И сама-то вся рваная, пальтишко худенькое...

— О-хо-хо...— подперев щеку рукой, вздыхала Петровна.— Ведь полным домком жил человек! Да где же это она всех растеряла-то?

Но Маркевна уже снова перешла от сочувствия к обиде:

— Да разве в ней человецкая душа осталась? «Голубушка,— говорю,— милая ты моя, одна, что ли, в свой домик возвратилась?» А она это как глянет на меня, руками за стол схватилась да как крикнет: «Не спрашивай!» Батюшки мои! Ровно я ей в сердце иголку всадила...— Маркевна закрылась платком и заплакала.

Петровна мельком взглянула на Кочерыжку. Лицо у него было серое, губы дрожали, в глазах стоял испуг.

— Уйди ты отсюда! Что за ребенок такой?! — рассерженно крикнула Петровна и, схватив Кочерыжку за руку, вытащила его в кухню.— Ступай оденься, погуляй хоть с ребятами! — Она бросила ему шинельку и платок.— Ступай, ступай! Вот всегда эдак-то: прилипнет к лавке и сидит, на нервы действует,— объясняла она бабке Маркевне, возвращаясь в комнату.

Кочерыжка нерешительно потоптался в кухне, взял с плиты печеную картофелину, надел шинельку, вышел на двор и побрел на собачий лай. Ему хотелось взглянуть на собаку, которая уже два дня не приходила к погребу. Но ему было страшно, что на крыльце Самохиных вдруг появится та женщина и закричит на него, как на бабу Маркевну. Во дворе никого не было. Не отрывая глаз от закрытой двери, Кочерыжка долго стоял у забора, потом храбро направился к калитке.

Марья Власьевна сидела одна у холодной печки. Около нее валялась сломанная табуретка и секач. Скрип двери, серая шинелька и протянутая ладошка с печеной картофелиной испугали ее. Она откинула со лба седые волосы и, зажмурившись, сказала:

— Боже мой, что это?

— Собаке... — дрожащим голосом прошептал Кочерыжка, не сводя с нее глаз.

Марья Власьевна глубоко вздохнула:

— Волчок!

Со двора вбежала собака, шумно обнюхала мальчика и, виляя хвостом, остановилась рядом с ним. Марья Власьевна молча смотрела, как Кочерыжка кормил собаку. Потом она заглянула в печь и чиркнула спичкой. Спичка погасла. Она снова чиркнула. Кочерыжка подобрал с полу тоненькие щепочки и положил их перед ней. Потом обнял за шею собаку и удивленно сказал:

— Я ее не боюсь.

В печке затрещали сухие доски. Мальчик осторожно присел на корточки и протянул к огоньку красные руки.

— Чей ты? — тихо, с напряженным вниманием глядя в его лицо, спросила Марья Власьевна.

— Васи Воронова. Я Кочерыжка, — робко сказал он и, заметив на ее губах слабую улыбку, стал рассказывать свою историю.

Он делал это совсем так, как Петровна, подперев рукой щеку и раскачиваясь из стороны в сторону. Марья Власьевна слушала его с удивлением и жалостью. Прощаясь, Кочерыжка сказал:

— Я к тебе и завтра приду.

По дороге его переняла Граня. Размахивая концами платка, она сердито потащила его к дому:

— Ходит не знай где! Весь в снегу извалялся! Настоящий Кочерыжка!

От усталости, сердитого голоса Грани и всего пережитого за этот день Кочерыжка сел на снег и заплакал.

* * *

Самохина сторонилась соседей. Она часами сидела одна, опустив на колени руки. Ее память с болезненной точностью рисовала ей то одно, то другое... Разбросанные в беспорядке вещи напоминали ей сборы в дорогу и залитое слезами лицо ее невестки Маши. Слезы свои Маша объясняла по-разному, невпопад: то нежеланием расстаться с насиженным углом, то боязнью перед незнакомой дорогой. Марья Власьевна не знала тогда, что Маша скрывает от нее смерть сына, что она одна переживает свое тяжелое горе, щадя старуху мать. Марья Власьевна вспоминает, как она сердилась на нее за эти слезы, как в последнюю ночь сборов, выйдя из терпения, она сурово прикрикнула на невестку: «Перестань! Возьми себя в руки! Стыдно! Люди близких теряют...»

Мысли Марьи Власьевны перескакивают. Она видит длинный эшелон, набитый женщинами и детьми. Она сидит между своими и чужими узлами, затиснутая в угол теплушки; потная головенка внучки, прикрытая ее широкой ладонью, прижимается к груди. В полумраке большие заплаканные глаза Маши. А потом бомбежка и глухой полустанок, где она, Марья Власьевна, металась между разбитыми вагонами, не выпуская из рук круглого синего чайника и бессмысленно объясняя кому-то с остановившимися от ужаса глазами: «За горяченьким пошла... за горяченьким...»

А из-под обломков люди вытаскивали что-то страшное, бесформенное, в чем уже нельзя было узнать ни внучки, ни Маши. Кто-то отнимал у нее залитый кровью капор, кто-то совал ей в руки узелок и вел ее за носилками, покрытыми серым брезентом... Затерянная на этом полустанке, одна среди чужих людей, она случайно развязала Машин узелок и там нашла карточку

сына вместе с его письмами к жене. Рядом с карточкой лежала серая бумажка, где сообщалось о славной смерти честного бойца Андрея Самохина... Лицо сына было радостное и удивленное, как будто он сам не верил в это сообщение о его смерти. Марья Власьевна стискивала руки, обводила глазами пустые углы и шептала без слез:

— Деточки мои... деточки...

Волчок клал ей на колени свою острую морду и, шумно вздыхая, лизал старые, сморщенные руки.

* * *

Теперь, когда Кочерыжка прятал в карман хлеб, Петровна бросала на Анну Дмитриевну многозначительный взгляд, и та сама клала перед мальчиком горку печеного картофеля:

— Кушай, кушай, сынок! А то на потом себе спрячь!

Кочерыжка брал в руки картошку и обводил всех недоверчивым, вопросительным взглядом. Но все смотрели в свои тарелки, а то нарочно выходили в кухню, и, глядя, как торопливо натягивает Кочерыжка свою шинельку, Петровна таинственно шептала:

— Собралси...

А Анна Дмитриевна тяжело вздыхала:

— Что ему там нужно?

Если б не Маркевна, в семье Вороновых давно запретили бы Кочерыжке ходить к необщительной соседке.

— В горе он сам родился, да еще на ее горе глаза таращит. Эдак вовсе ребенка испортить можно, — беспокоилась Петровна.

— А не пусти — плакать будет, — огорчалась Анна Дмитриевна.

Гранька надувала розовые губы:

— Сами позволяете... Вася приедет — всем попадет... Не она его нашла, и ладно!

Но Маркевна была другого мнения.

— Как можно не пускать? — строго говорила она. — Грех в нем сердечко сдерживать. Кто чужие слезы утрет, тот меньше своих прольет... Не всякое горе к себе близко подпускает, а ребенок — он как лучик тепленький... Ведь вот я-то, старая, разбередила ей душеньку...

История Самохиной, приукрашенная и неправдоподобная, ходила по всему поселку, о ней говорили в заводском кооперативе, где люди получали картошку.

Правдой во всем этом было только то, что осталась женщина одна-одинешенька. Но не это мучило Маркевну, когда вспоминала она Самохину. Мучила ее мертвая душа в живом человеке, и, не в силах оживить ее сама, она надеялась на Кочерыжку.

Уходя, Маркевна вынимала из-под платка свежеспеченный хлебец и совала его Петровне:

— Дай мальчику-то... пушай снесет... от себя вроде.

Кочерыжка не понимал маленьких хитростей взрослых, он и вправду носил от себя. Войдя к Марье Власьевне, он просто выкладывал на стол все, что принес, выбирая куски для собаки. Один раз Самохина сурово сказала:

— Не носи больше. — Но, заметив в его глазах испуг, спросила: — Кто тебя посылает?

— Сам иду, — всхлипнул Кочерыжка.

Марья Власьевна погладила его по голове:

— Не носи больше, слышишь? Так приходи...

Вечером она собрала кое-что из белья, приладила лампочку и села чинить. Потом затопила печь, нагрела воды, вымыла комнату, вытащила из сарая маленький стульчик и, подумав, поставила его около печки.

* * *

Смеркалось, а Кочерыжки не было. Анна Дмитриевна не выдержала, надела шаль и пошла к дому Самохиной:

— Хоть погляжу своими глазами, как он там...

Но, дойдя до калитки, испуганная яростным лаем собаки, она повернула обратно и, придя домой, написала письмо сыну.

«Дорогой мой Васенька!

Исполняю свой материнский долг и спешу с тобой посоветоваться. Твой сынок Володенька мальчик тихий, беспокойства он нам не доставляет, только последнее время совсем мы с ним голову потеряли и ума не приложим, как нам быть...»

Анна Дмитриевна подробно описала возвращение соседки Самохиной, привязанность к ней мальчика и закончила словами:

«...Сердце в нем мягкое, а характер настойчивый — весь в тебя».

Заклеив письмо, она позвала Граньку:

— Снеси на станцию. Да покличь Кочерыжку.

— Не пойду я за ним, — отказывалась Гранька.

В это время входная дверь стукнула, и вместе с морозным паром на пороге встали две фигуры. Женщина в черном платке и в мужском пальто, подвязанном веревкой, держала за руку Кочерыжку.

— У меня мальчик ваш был, — тихо сказала она и повернулась, чтобы уйти.

Но Анна Дмитриевна взволновалась:

— Он у вас, а вы у нас... посидите маленько.

Петровна живехонько столкнула с табуретки Граньку и вышла на кухню.

— Хоть чайку-то откушай с нами... Добрые соседи — вторая семья. — Сказав это, она вдруг испугалась и робко добавила: — Не обижай старуху, Власьева!

— Спасибо. У меня там собака заперта, — со вздохом сказала Марья Власьева.

Но Анна Дмитриевна увлекла ее в комнату и усадила на табуретку.

— Садись, садись рядышком, Володечка! Около теньки садись,— хлопотала она.

— С мороза-то чайку попейте,— угощала Петровна.

Самохина молча взяла чашку. Анна Дмитриевна подвинула ей кусок сахара.

— Кушай, кушай, голубочек! — шептала Кочерыжке Петровна, не зная, какой вести разговор.

Граня в упор рассматривала гостью. Гладкие седые волосы, глубокие морщины. Лицо усталое. Казалось, что у нее смертельно болит голова. Она с трудом поднимала на говорившего выцветшие серые глаза. Привечая гостью, Петровна тщательно подбирала слова и, боясь сказать чего не следует, беспомощно поглядывала на Анну Дмитриевну. Анна Дмитриевна дергала под столом Граньку, обращалась к Кочерыжке и, не слушая его ответов, говорила про погоду:

— Все снег да снег! И куда его столько навалило? На железной дороге девки только и гребут... только и гребут...

В разгар чаепития вошла Маркевна. Увидя за столом Самохину, она оробела, сунула всем руку дощечкой и сразу повела громкий разговор:

— Зима, зима! А весна-то уж вот она! На пригорке сидит, на солнышко поглядывает!

— Верно, верно! — почувствовав в ней поддержку, оживилась Петровна. — Зиму-то мы уже отстрадали! Теперь всяко растение к солнышку потянется, всякой душеньке на земле полегчает.

Маркевна строго глянула на нее.

— И подснежнички где-нигде покажутся, и цветочки по овражкам желтенькие... — с испуганным лицом затянула Петровна.

А гостя сидела молча, сжимая обеими руками кружку, как будто хотела согреть свои иззябшие руки. Глаза ее смотрели куда-то далеко, мимо этих людей, поивших ее чаем. А они, исчерпав все пустые слова, напуганные

ее молчанием, сначала перешли на шепот, а потом и вообще замолчали, растерянно и грустно поглядывая друг на друга. Один Кочерыжка сопел и беспокойно вертелся на лавке. Ему казалось, что все забыли про гостью, а она уже давно пьет горячую воду без сахара. Боясь, чтобы она так и не ушла, он припомнил самые лучшие, по его мнению, слова, которые говорила гостям Петровна, повернулся к Самохиной и, подвигая к ней сахар, громко сказал:

— Кушай, голубочек!

Самохина посмотрела на него и улыбнулась. Петровна ахнула, Гранька расхохоталась, а Маркевна торжественно сказала:

— Угощай! Угощай! Ты хозяин! Проси еще чашечку испить!

Провожая Марью Власьевну, Анна Дмитриевна просила не забывать их.

— А уж мальчик коль не мешает, так нам только радостно... только радостно,— повторяла она, опасаясь про себя, что от Васи выйдет приказ не пускать к Самохиной Кочерыжку.

* * *

Теперь каждое утро после завтрака Кочерыжка начинал собираться.

— На работу, сынок? — шутливо спрашивала его Петровна, не подозревая, что после запрещения носить еду мальчик придумал себе новую заботу: идя по двору или по дороге, он усердно собирал щепки, складывал их в букетик, приносил Марье Власьевне и молча смотрел, как она разжигает огонь его щепками.

Ему нравилось, что в комнате было чисто. Наследив на полу мокрыми валенками, он брал тряпку и, посапывая, затирал свои следы. Все чаще заставлял он Самохину за работой. Однажды она принесла в круглой корзине грязное белье, и на другой день, подходя к дому, он увидел

густой белый дым, валивший из трубы. В комнате было тепло, на плите булькал котел. Марья Власьевна стирала, засучив рукава. Кочерыжка остановился на пороге и нежно улыбнулся:

— Тепло у нас!

Марья Власьевна сняла с него шинельку и придвинула к печке стульчик:

— Погрейся. Картинки погляди.

Она достала с полки отсыревшую книжку с картинками и подала мальчику. Собака уселась рядом. Переверачивая страницы, Кочерыжка смотрел картинки и шевелил губами.

Марья Власьевна придвинула к печке стул и стала читать. Она читала медленно: множество слов и собственный голос утомляли ее. Иногда, перевернув страницу, она замолкала, но глаза Кочерыжки смотрели на нее с нетерпеливым ожиданием, и она читала дальше, пока не кончила сказку.

— Вся? — с сожалением спросил Кочерыжка.

— Вся.

Мальчик пристально посмотрел на нее и, наклонив голову, спросил:

— Сапоги-скороходы есть у тебя?

— Нету. А у тебя? — вдруг лукаво спросила Марья Власьевна.

Он посмотрел на свои растоптанные валенки:

— И у меня нету!

Они оба засмеялись.

С тех пор чтение сделалось любимым занятием обоих. Марья Власьевна стирала белье для заводской столовой; Кочерыжка терпеливо ждал, пока она закончит стирку и, придвинув свой стул к печке, начнет ему читать. От сказок перешли к рассказам. Первым читали «Каштанку». В том месте, где собачонка бежит по улице, разыскивая следы столяра, Кочерыжка разволновался. Он перестал слушать, заглядывал вперед и нетерпеливо спрашивал:

— А хозяин-то, хозяин-то у тебя где? — И сердился: — Не надо мне про гуся! Я говорю, хозяина ищи!

Марье Власьевне приходилось доказывать, объяснять, уговаривать. Кочерыжка слушал, соглашался и, прижимаясь к ее плечу, просил:

— Читай, баба Маня!

* * *

Жизнь начинала входить в прежнюю колею. Анна Дмитриевна уже не носила из столовой суп, а Петровна все чаще баловала своих горячими лепешками. Щеки у ребят порозовели. Кочерыжку заставляли пить козье молоко, и, когда он прыгал по комнате, Петровна острела:

— Ишь-ишь, коза-то бунтует!

От Васи пришло только одно письмо. Пахло оно недавним порохом, было полно тоски по дому и уверенности в близком конце войны:

«Только бы ступить мне на родную землю, обнять вас всех да заглянуть в глаза сыну... Экий парень небось вырос! Ведь шестой год ему пошел! Жаль, не узнает он меня!»

— Где же узнать-то? — вздыхала Петровна.

* * *

Стаял снег. Влажная черная земля подсохла. Люди радостно засуетились, высыпали на огороды. Разделяли грядки, подвязывали молодые деревца и перекликались со двора во двор звонкими помолодевшими голосами. В саду Марьи Власьевны зазеленели кусты клубники, вылезли из-под снега тоненькие прутики малины. На окне в тарелке мокли завязанные в тряпочку бобы. Кочерыжка каждый день заглядывал в тряпочку и умилялся, когда у бобов появлялись крошечные зеленые хвостики. Марья Власьевна привезла из города рассаду капусты, они вместе сажали ее и радовались

крепким тугим стебелькам. В праздник Победы Марья Власьевна с Кочерыжкой снова сидела рядом за столом Анны Дмитриевны. Народу собралось много, было шумно, пили за славных бойцов, за Васю Воронова. Петровна плеснула в чашку сладкого вина и подала Кочерыжке:

— Выпей, выпей, Владимир Васильевич, за папаньку своего!

Общая радость отодвинула личное горе каждого. Плача о погибших, люди радовались живым. Марья Власьевна тоже плакала и радовалась, обнимая Петровну и Анну Дмитриевну. Кочерыжка смотрел на всех сияющими глазами и смущался, когда пили за его отца — Васю Воронова.

* * *

Каждый день с голубой станции шли военные. Маркевна то и дело, прикрыв глаза рукой, смотрела на большую дорогу и, завидев человека в зеленой гимнастерке, выходила на крыльцо. Инвалиду без руки или без ноги она сама шла навстречу, низко кланялась и говорила:

— Прости, сынок! За нас, грешных, пострадал!

И растроганный чужой человек обнимал ее сухонькие плечи:

— Не зря пострадал, мать.

Петровна после каждого поезда посылала Граньку поглядеть, не идет ли Вася.

Анна Дмитриевна вскакивала ночью и, услышав голоса на дороге, окликала:

— Васенька!

Марья Власьевна, завидев издали военного, указывала на него Кочерыжке. Но мальчик уверенно отвечал:

— Не он. Я его изо всех сразу узнаю.

Он уверял, что даже сердитый Волчок не будет лаять на Васю.

— Ведь он не чужой, а отец мне, — простодушно говорил он.

Марья Власьевна грустно улыбалась. Ей представлялся высокий плечистый человек, который берет за руку Кочерыжку и навсегда уводит его из ее дома. Ей даже снилось, как мальчик идет за своим отцом, оглядываясь на крыльцо, где они так часто сидели с книжкой, на собаку, которую он кормил, и на нее, свою бабу Маню...

А Кочерыжка, не замечая ее тревоги, все чаще и чаще говорил:

— Отец едет ко мне!

* * *

Василий Воронов приехал. Он был крепкий, коренастый, с широкой улыбкой и громким голосом. Первая увидела его Гранька и с визгом бросилась в сени. Мать и бабка выскочили на крыльцо. Вася сбросил с плеч два чемодана, крикнул и прижал к своей груди обе старые седые головы.

— Эх, старушки мои!

— Боец ты наш, защитник! — обливая слезами его гимнастерку, лепетала Петровна.

— Сыночек... сыночек... Васенька... — ощупывая его дрожащими руками, повторяла Анна Дмитриевна.

Гранька при виде брата вдруг застеснялась и спряталась за дверь.

— Давай, давай ее сюда! — кричал Василий, вытаскивая сестренку. — А ну покажись, какая стала? Маленькая, большая, добрая, злая?

Отпустив Граньку, Вася оглянулся вокруг и тревожно спросил:

— Где ж он?

Все поняли, что он спрашивает о Кочерыжке.

— Сейчас, сейчас, — заторопилась Петровна, повязывая платок.

Анна Дмитриевна торопливо стала рассказывать, что мальчик у соседки Самохиной, о которой она писала в письме.

— У той же? Значит, дружба у них идет? — Вася широко улыбнулся, схватил шапку и крикнул Петровне: — Стой, бабушка! Я сам туда пойду! Я их спугаю сейчас! Который дом-то? — Весело улыбаясь, он побежал через дорогу к дому Самохиной.

Кочерыжка в длинных синих штанах стоял рядом с Марьей Власьевной, подрезая большими садовыми ножницами кусты малины. Марья Власьевна что-то говорила ему, оправляя выбившиеся из-под платка волосы. У забора залаял Волчок. Кочерыжка оглянулся, бросил ножницы и шепотом сказал:

— Баба Маня...

От калитки шел военный человек, отгоняя шапкой собаку. Кочерыжка бросился к нему, но вдруг, оробев, остановился.

— Кочерыжка! Владимир Васильевич?! — широко расставив руки, крикнул Вася Воронов.

Кочерыжка зажмурился и, подпрыгнув, обхватил его за шею.

— Сын-то, сын-то какой у меня вырос! — вглядываясь в его лицо, говорил Василий.

Марья Власьевна молча смотрела на них с растерянной жалкой улыбкой. Собака беспокойно взвизгивала.

— Узнал меня? — радостно спрашивал Василий, поглаживая пальцами темные брови мальчика и пристально вглядываясь в знакомые голубовато-зеленые глаза.

— Узнал! Сразу узнал! И она узнала! — Кочерыжка обернулся к Марье Власьевне и, вцепившись обеими руками в руку Василия, потащил его за собой. — Узнала отца моего? — быстро и тревожно спросил он Марью Власьевну.

— Не узнала, так я узнал! — с волнением в голосе сказал Вася и, подойдя к Марье Власьевне, расцеловал ее в обе щеки. — Мы друг дружку небось давно знаем! Через него познакомились, верно я говорю?

Марья Власьевна посмотрела в его открытые глаза и облегченно вздохнула. А Кочерыжка уже тащил Васю за руку, показывал ему грядки, кусты и говорил, задыхаясь от радости:

— Гляди, чего тут мы с ней насажали! Гляди, отец! Слово «отец» он произносил твердо, как будто давно привык к нему. А Вася Воронов, поминутно оборачиваясь к Самохиной, повторял:

— Спасибо вам за него, спасибо! — И неудержимо радовался: — Нет, каков сын-то у меня!

Марья Власьевна улыбалась, кивала головой, но руки ее дрожали. У крыльца она остановилась, подняла на Васю Воронова серые усталые глаза и тихо спросила:

— Уедете куда или с матерью жить будете?

Он понял ее вопрос и твердо сказал:

— Никуда! У нас с ним теперь два дома, и оба свои. Чего же еще искать-то?

